

Четвергъ, 15-го (28-го) юля 1904 г. № 212.

Р у б

3

Подъезжая к Козловой-Засеке (станция Московско-Курской ж. д., ближайшая к Исной Поляне), я еще раз тщательно проверяю свои ощущения и убеждаюсь в том, что я очень волнуясь, как бывало перед экзаменами.

Выхожу. На встречу бросается посыльный, хватает мои вещи и несет; и первый вопрос: — Вы к графу? — Да, к графу... Где у вас тут можно достать лошадей?

— А тут графская ждуться лошади... — Графская? Ну, это не меня ждуть... А станции нету развѣ почтовой. — Задумывается посыльный.

— Станция-то есть; а только не сподручно будет.

— А что?

— Да, далековато: верста пятнадцать отсюда... — И на самом деле, не сподручно! — мнута неприятного раздумья.

— Да вы пожалуйста, барин, на графских; вѣдь онъ все равно порознень пойдут: за почтой придут...

За почтой!.. Ну, это мѣняетъ обстоятельства.

— Андрей, а Андрей! — кричитъ посыльный. Подходить Андрей, разланный такой мушкетеромъ въ корячемъ армякѣ и фуражкѣ.

— Чаво вамъ?

— Да вотъ тутъ къ вамъ баринъ приѣхалъ... Довезешъ, что-ли?

— Почто-жъ не довезти... Довезу; пожалуйста...

— Пожалуйте, барин! — подтверждаетъ и посыльный.

Идемъ всѣ трое: проходимъ станионный домъ, спускаемся на улицу... Андрей, подобравъ полы армяка, стремится впередъ, подбегаетъ къ привязанному у забора большому вороному мерину, запряженному въ легкую тележку; вскакиваетъ на козлы и, лихо завернувшись по мостовой, подаетъ къ крыльцу.

— Итакъ, вотъ графскія лошади! — думаю я...

Усаживаюсь. подаю посыльнику посылную ленту и пускаюсь въ путь, забавно придерживаясь за перила спѣнья: потираю затылокъ.

Станцію минуемъ сразу — два-три домика — и вся она тутъ, и идемъ сначала по просторному пригорку, потомъ въ долину зеленую спускаемся и пробираемся извилистой, вязкой дорогой.

— Что, какъ графа здоровье? — спрашиваю.

— Графа-то?.. Ничего графа... Теперь онъ ничего...

— Принимаютъ?

— Принимаютъ...

Плохо вляется разговоръ: — у Андрея свои думы, какъ! — Господь ихъ знаетъ; у меня свои: жутко какъ-то сознавать, что вотъ еще какой-нибудь часъ, и я увижу Толстого... Вѣдь это уже его мѣста: по этой дорожкѣ онъ ѣздитъ; ходитъ по этому луку; смотритъ на небо это... И именно изъ этой спокойной и простой картины беретъ онъ краски, беретъ образы для своихъ творений...

— Чья земля? — спрашиваю невольно. — Земля? А казенная земля-то... — неохотно такъ отвѣчаютъ...

— А у графа много земли?

— У графа-то? У графа много; и земли много, и лѣсу много... Всего много...

Ну, молчи ужъ; Богъ съ тобой... Не буду мѣшать тебѣ... Дальше плетемся. Вотъ столбъ какой-то непонятный, — старый, разваливающийся, но сохранивший еще стройный архитектурный очертаи. Рѣшаюсь еще разъ обезпечить своего вознику:

— Это что же за столбъ?

— А граница это... Здѣсь, значитъ, казенная земля, а тутъ ужъ графская («графъ» онъ произноситъ правильно, но «графская» у него выходитъ по своему — «грахская»).

II.

Въ графскій дворъ ворота ведутъ, какъ во всѣ старые дворянскіе дома: двѣ башенныя круглыя, по бокамъ и около нихъ сторожка; но, сторожка, какъ водится, давнымъ-давно уже превращена въ кладовую для картофеля и капусты, а собственно воротъ... ворота нѣтъ и вовсе: такъ — одна дыра.

Минуемъ дыру. Старымъ чѣмъ то вѣетъ, хорошимъ отъ аллеи этой, отъ пруда, отъ парничковъ, разбитыхъ по правую руку, точно къ себѣ возвращаешься послѣ долгой, долгой отлучки въ забытый, милый домъ, гдѣ будутъ тебѣ понтъ вкуснымъ кофеемъ съ густыми сливками, кормить румяными, горячими булочками и ласкать и приговаривать:

— Эй ты худой да блѣдный... Отдохнуй тебѣ надо... Такое дѣтское ощущение...

Но не домой вѣдь я ѣду; и везетъ меня не мой старый «Митрей», а кучеръ графа Толстого — Андрей; и привыкъ этотъ кучеръ возить разныхъ знатныхъ иностранцевъ, и горды эти иностранцы, и потому...

Лѣзу въ коммелекъ — пока здѣсь въ аллеѣ насъ никто не видитъ — высккиваю тамъ полтинникъ и сую Андрею въ руку. Смотритъ на меня, смотритъ на полтинникъ, а потомъ безъ одного слова суеетъ донгу въ карманъ и почему-то стогасть лошадь... Гупо выходитъ. И за него стыдно, и за себя.

А вотъ и домъ... Да, да! Совѣмъ такой, какъ видѣли мы въ дѣтствѣ: чистенькій, блѣдный, низенький и сбоку крытый балконъ стеклянный; на балконѣ столъ, на столѣ самоваръ, на самоварѣ кофейникъ...

Только — вспоминаю — я-то здѣсь чужой, пришлецъ, врывающийся со стороны въ покой стараго человѣка. И пеловко мнѣ радостно и свободно идти на этотъ балконъ, а надо стоять у крыльца, забавно обтирать ноги о коврикъ, да тревожно выспрашивать лакея: — Всталъ ли? Какъ здоровье? Не помѣшалъ ли?

— Позвольте, я доложу, — слышу отъ вѣтъ.

— Вотъ моя карточка...

И уходитъ; черезъ дѣтъ минуты является вновь: — Просятъ обождать нѣсколько; сейчасъ выйдутъ... Да вы пройдите, баринъ, на балкончикъ-съ...

А изъ балконной двери уже выглядываетъ чье-то славное, бородатое лицо и произноситъ:

— Войдите, пожалуйста...

Вхожу; стѣнясь, конечно; странно какъ-то: какъ же первый разъ въ домъ, и вдругъ такъ сразу — прямо съ дороги и къ столу...

— Садитесь, садитесь... Ваша такъ фамилия? А я Толстой (сынъ Льва Николаевича). А вотъ это... (называетъ имя) Вамъ чай? Кофе? Все есть... Вы откуда? Изъ Москвы? Хоронили Чехова?.. Напа будетъ доволенъ... Онъ хотѣлъ кого-нибудь новидать изъ газетъ... Хотѣлъ поговорить объ Антонѣ Павловичѣ и еще кое о чѣмъ... Нейте же, пожалуйста...

Итакъ, сидимъ за столомъ, говоримъ; еле-еле я отвѣчаю, потому что думаю: — Сейчасъ вотъ позовутъ меня къ нему; пройду и увижу его въ полутемномъ кабинетѣ, заваленномъ книгами, тихо сидящимъ на креслѣ...

И вдругъ чувствую я, что совершенно противъ моей воли какая-то сила подымаетъ меня на ноги... И не понимая еще, встаю и смотрю: рѣзко хлопаетъ балконная дверь и твердыми, частыми шагами входитъ пыльный старичокъ, съ лицомъ, сплосшимъ поросшимъ волосами, въ блѣлой мягкой шляпой на головѣ. И быстро подходитъ ко мнѣ и беретъ меня, оробѣвши-то, за руку и говоритъ:

— Такой-то? Очень радъ... Я — Толстой...

Портреты его изображаютъ невѣрно. Глядя на него, вы не замѣчаете ни той бороды, которую такъ тщательно выщипываютъ художники, ни шиповатого, особеннаго лба, ни суроваго выраженія лица...

Вы видите прежде всего одни глаза: побольше, круглые и — въ этомъ ихъ особенное — совершенно плоскіе и одностѣнные — слѣнце; точно на сильный источникъ свѣта смотришь: видишь сплошное сіяніе и различить не можешь — откуда и какъ оно происходитъ... Остальное — и широкій носъ, и высокій лобъ, и брови густыя, и борода, и даже все тѣло кажется пристроеннымъ къ этимъ глазамъ, сопровождающимъ ихъ... Сначала глаза, а затѣмъ уже все прочее... Такимъ кажется мнѣ Толстой.

Проходитъ мимо стола, не садясь; ко мнѣ обращается:

— Вы не боитесь ходить?

— Нѣтъ, помню (хочется почему-то назвать его «графъ»), Левъ Николаевичъ... Смотрите заботливо на мои ноги, облаченные въ франтоватыя столичные ботинки...

— Вы безъ калошъ? Ну пойдемъ тамъ, гдѣ калошъ не надо...

Выходимъ; спускаемся съ лѣстницы; быстро онъ идетъ; изподлобья взглядываетъ на меня:

— Я радъ, что заѣхалъ ко мнѣ кто-нибудь изъ газетъ... Мнѣ хочется нѣсколько словъ сказать про Чехова и про реформу орфографіи; самъ же соберусь писать...

Вотъ моя карточка... И уходитъ; черезъ дѣтъ минуты является вновь: — Просятъ обождать нѣсколько; сейчасъ выйдутъ... Да вы пройдите, баринъ, на балкончикъ-съ...

А изъ балконной двери уже выглядываетъ чье-то славное, бородатое лицо и произноситъ:

— Войдите, пожалуйста...

Вхожу; стѣнясь, конечно; странно какъ-то: какъ же первый разъ въ домъ, и вдругъ такъ сразу — прямо съ дороги и къ столу...

— Садитесь, садитесь... Ваша такъ фамилия? А я Толстой (сынъ Льва Николаевича). А вотъ это... (называетъ имя) Вамъ чай? Кофе? Все есть... Вы откуда? Изъ Москвы? Хоронили Чехова?.. Напа будетъ доволенъ... Онъ хотѣлъ кого-нибудь новидать изъ газетъ... Хотѣлъ поговорить объ Антонѣ Павловичѣ и еще кое о чѣмъ... Нейте же, пожалуйста...

Итакъ, сидимъ за столомъ, говоримъ; еле-еле я отвѣчаю, потому что думаю: — Сейчасъ вотъ позовутъ меня къ нему; пройду и увижу его въ полутемномъ кабинетѣ, заваленномъ книгами, тихо сидящимъ на креслѣ...

И вдругъ чувствую я, что совершенно противъ моей воли какая-то сила подымаетъ меня на ноги... И не понимая еще, встаю и смотрю: рѣзко хлопаетъ балконная дверь и твердыми, частыми шагами входитъ пыльный старичокъ, съ лицомъ, сплосшимъ поросшимъ волосами, въ блѣлой мягкой шляпой на головѣ. И быстро подходитъ ко мнѣ и беретъ меня, оробѣвши-то, за руку и говоритъ:

— Такой-то? Очень радъ... Я — Толстой...

Портреты его изображаютъ невѣрно. Глядя на него, вы не замѣчаете ни той бороды, которую такъ тщательно выщипываютъ художники, ни шиповатого, особеннаго лба, ни суроваго выраженія лица...

Вы видите прежде всего одни глаза: побольше, круглые и — въ этомъ ихъ особенное — совершенно плоскіе и одностѣнные — слѣнце; точно на сильный источникъ свѣта смотришь: видишь сплошное сіяніе и различить не можешь — откуда и какъ оно происходитъ... Остальное — и широкій носъ, и высокій лобъ, и брови густыя, и борода, и даже все тѣло кажется пристроеннымъ къ этимъ глазамъ, сопровождающимъ ихъ... Сначала глаза, а затѣмъ уже все прочее... Такимъ кажется мнѣ Толстой.

Проходитъ мимо стола, не садясь; ко мнѣ обращается:

— Вы не боитесь ходить?

— Нѣтъ, помню (хочется почему-то назвать его «графъ»), Левъ Николаевичъ... Смотрите заботливо на мои ноги, облаченные въ франтоватыя столичные ботинки...

— Вы безъ калошъ? Ну пойдемъ тамъ, гдѣ калошъ не надо...

Выходимъ; спускаемся съ лѣстницы; быстро онъ идетъ; изподлобья взглядываетъ на меня:

— Я радъ, что заѣхалъ ко мнѣ кто-нибудь изъ газетъ... Мнѣ хочется нѣсколько словъ сказать про Чехова и про реформу орфографіи; самъ же соберусь писать...

Вотъ моя карточка... И уходитъ; черезъ дѣтъ минуты является вновь: — Просятъ обождать нѣсколько; сейчасъ выйдутъ... Да вы пройдите, баринъ, на балкончикъ-съ...

А изъ балконной двери уже выглядываетъ чье-то славное, бородатое лицо и произноситъ:

— Войдите, пожалуйста...

Вхожу; стѣнясь, конечно; странно какъ-то: какъ же первый разъ въ домъ, и вдругъ такъ сразу — прямо съ дороги и къ столу...

— Садитесь, садитесь... Ваша такъ фамилия? А я Толстой (сынъ Льва Николаевича). А вотъ это... (называетъ имя) Вамъ чай? Кофе? Все есть... Вы откуда? Изъ Москвы? Хоронили Чехова?.. Напа будетъ доволенъ... Онъ хотѣлъ кого-нибудь новидать изъ газетъ... Хотѣлъ поговорить объ Антонѣ Павловичѣ и еще кое о чѣмъ... Нейте же, пожалуйста...

Итакъ, сидимъ за столомъ, говоримъ; еле-еле я отвѣчаю, потому что думаю: — Сейчасъ вотъ позовутъ меня къ нему; пройду и увижу его въ полутемномъ кабинетѣ, заваленномъ книгами, тихо сидящимъ на креслѣ...

И вдругъ чувствую я, что совершенно противъ моей воли какая-то сила подымаетъ меня на ноги... И не понимая еще, встаю и смотрю: рѣзко хлопаетъ балконная дверь и твердыми, частыми шагами входитъ пыльный старичокъ, съ лицомъ, сплосшимъ поросшимъ волосами, въ блѣлой мягкой шляпой на головѣ. И быстро подходитъ ко мнѣ и беретъ меня, оробѣвши-то, за руку и говоритъ:

— Такой-то? Очень радъ... Я — Толстой...

Портреты его изображаютъ невѣрно. Глядя на него, вы не замѣчаете ни той бороды, которую такъ тщательно выщипываютъ художники, ни шиповатого, особеннаго лба, ни суроваго выраженія лица...

Вы видите прежде всего одни глаза: побольше, круглые и — въ этомъ ихъ особенное — совершенно плоскіе и одностѣнные — слѣнце; точно на сильный источникъ свѣта смотришь: видишь сплошное сіяніе и различить не можешь — откуда и какъ оно происходитъ... Остальное — и широкій носъ, и высокій лобъ, и брови густыя, и борода, и даже все тѣло кажется пристроеннымъ къ этимъ глазамъ, сопровождающимъ ихъ... Сначала глаза, а затѣмъ уже все прочее... Такимъ кажется мнѣ Толстой.

Проходитъ мимо стола, не садясь; ко мнѣ обращается:

— Вы не боитесь ходить?

— Нѣтъ, помню (хочется почему-то назвать его «графъ»), Левъ Николаевичъ... Смотрите заботливо на мои ноги, облаченные въ франтоватыя столичные ботинки...

— Вы безъ калошъ? Ну пойдемъ тамъ, гдѣ калошъ не надо...

Выходимъ; спускаемся съ лѣстницы; быстро онъ идетъ; изподлобья взглядываетъ на меня:

— Я радъ, что заѣхалъ ко мнѣ кто-нибудь изъ газетъ... Мнѣ хочется нѣсколько словъ сказать про Чехова и про реформу орфографіи; самъ же соберусь писать...

Вотъ моя карточка... И уходитъ; черезъ дѣтъ минуты является вновь: — Просятъ обождать нѣсколько; сейчасъ выйдутъ... Да вы пройдите, баринъ, на балкончикъ-съ...

А изъ балконной двери уже выглядываетъ чье-то славное, бородатое лицо и произноситъ:

— Войдите, пожалуйста...

Вхожу; стѣнясь, конечно; странно какъ-то: какъ же первый разъ въ домъ, и вдругъ такъ сразу — прямо съ дороги и къ столу...

— Садитесь, садитесь... Ваша такъ фамилия? А я Толстой (сынъ Льва Николаевича). А вотъ это... (называетъ имя) Вамъ чай? Кофе? Все есть... Вы откуда? Изъ Москвы? Хоронили Чехова?.. Напа будетъ доволенъ... Онъ хотѣлъ кого-нибудь новидать изъ газетъ... Хотѣлъ поговорить объ Антонѣ Павловичѣ и еще кое о чѣмъ... Нейте же, пожалуйста...

желанию? Прекрасно, это прекрасно. Не надо рѣчь... Я именно поэтому и не принималъ никакого участія въ его похоронахъ... Я противникъ всякихъ демонстрацій... Даже и Тургеневу еще, — онъ нарочно ко мнѣ прѣзжалъ, — приглашалъ на пушкинскія торжества, — отказалъ тогда по тѣмъ же соображеніямъ; потому что это мой давнишній взглядъ: не надо демонстрацій никакихъ, особенно помертвыхъ... Но вотъ, разъ вы заѣхали, я могу вамъ высказать то, что думаю объ Чеховѣ...

Вглядываю на него: идетъ такъ же бодро и скоро, смотритъ въ землю и руки заложилъ за спину.

— Чеховъ... Чеховъ, видите ли, это былъ несравненный художникъ... Да, да... Именно несравненный... Художникъ жизни... И достоинство его творчества то, что оно непонятно и средно не только всякому русскому, но и всякому человѣку вообще... А это главное... Я какъ-то читалъ книгу одного пѣвца и тамъ вотъ молодой человѣкъ, желая сдѣлать своей невѣстѣ хороший подарокъ, даритъ ей книги; и чья? Чехова... Считая его выше всѣхъ извѣстныхъ писателей... Это очень вѣрно; я былъ пораженъ тогда...

Онъ бралъ изъ жизни то, что видѣлъ, независимо отъ содержанія того, что видѣлъ.

За то если ужъ онъ бралъ что-нибудь, то передавалъ удивительно образно и понятно, — до мелочей ясно... То, что занимало его въ моментъ творчества, то онъ воссоздавалъ до послѣднихъ черточекъ...

Онъ былъ искреннимъ, а это великое достоинство; онъ писалъ о томъ, что видѣлъ и какъ видѣлъ...

И благодаря искренности его, онъ создавалъ новыя, совершенно новыя, по моему, для всего міра формы писма, подобныя которымъ я не встрѣчалъ нигдѣ! Его языкъ — это необычайный языкъ. Я помню, когда я его въ первый разъ началъ читать, онъ мнѣ показался какимъ-то страннымъ, «нескладнымъ»; но какъ только я вчитался, такъ этотъ языкъ захватилъ меня.

Да, именно благодаря этой «нескладности» или, не знаю, какъ это назвать, онъ захватываетъ необычайно и, точно безъ всякой воли вашей, выдвигаетъ вамъ въ душу прекрасныя художественныя образы...

Я смотрю на Льва Николаевича и невольно смѣюсь... Вѣдь это же о своемъ языкѣ говоритъ онъ такъ убежденно, почти сердито... Онъ съ удивленіемъ взглядываетъ на меня.

— Простите, Левъ Николаевичъ, — спѣшу я объяснить свой смѣхъ. Но вѣдь это именно ваше свойство: писать совершенно новымъ, простымъ языкомъ и, благодаря этому языку, особенно захватывать читателя!

— Нѣтъ, нѣтъ... — отвѣчаетъ онъ сердито и потираетъ голову. Я повторяю, что новыя формы создалъ Чеховъ, и отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике онъ, Чеховъ, гораздо выше меня!.. Это единственный въ своемъ родѣ писатель...

— А Мопассанъ? — рѣшаюсь я предложить давно вергающийся на языкъ вопросъ.

— Мопассанъ? — повторяетъ онъ... Да,

пожалуй... Но я затрудняюсь еще, кому отдать предпочтеніе... Вы записали?

Онъ все время внимательно слѣдитъ, чтобы дать мнѣ возможность занести въ свою записку его слова...

Записали? Я хочу вамъ сказать еще, что въ Чеховѣ есть еще большой признакъ: онъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ писателей, которыхъ, какъ Диккенса и Пушкина и немногихъ подобныхъ, можно много, много разъ перечитывать, — я это знаю по собственному опыту...

Я боюсь сердитъ его и потому не говорю уже, а только думаю: — опять же это ваше главное свойство... «Война и миръ», «Анна Каренина», кто изъ насъ не перечитывалъ этого десятка разъ? — А Толстой записываетъ уже свою рѣчь:

— Одно могу сказать вамъ — смерть Чехова это большая потеря для насъ, тѣмъ болѣе, что кромѣ несравненнаго художника, мы лишились въ немъ прелестнаго, искреннаго и честнаго человѣка... Это былъ общительный человѣкъ; скромный, милый...

IV.

Послѣднія слова Толстой произноситъ сердечно и задумчиво... Мы идемъ по узенькой аллейкѣ, поросшей травой; то остановимся, и онъ, глядя прямо мнѣ въ глаза, высказываетъ свои мысли, то опять пойдемъ, и онъ говоритъ, смотря въ землю... Вдругъ онъ рѣзко мѣняетъ тонъ:

— Ну, а теперь я вамъ скажу о другомъ. Это мелочъ конечно, но объ этомъ столько говорятъ, что я уже давно хочу сказать по этому поводу нѣсколько словъ... О реформѣ правописанія... Онъ минуту думаетъ и затѣмъ рѣшительно произноситъ: — По моему реформа эта нецѣльна... Да, да, нецѣльна. Это типичная выдумка ученыхъ, которая, конечно, не можетъ пройти въ жизнь. Нытъ — это послѣдствіе жизни; онъ создавалъ исторически и малѣйшая черточка въ немъ имѣетъ свое особое, осмысленное значеніе... Голосъ Льва Николаевича становится опять сердитымъ. — Человѣкъ не можетъ и не смѣетъ переделывать того, что создано жизнью; это безмысленно... пытаться испортить природу, безмысленно... Говорятъ, гимназистамъ будетъ легче. Да, можетъ быть, но за то намъ будетъ труднѣе; да и имъ будетъ легче только писать, а читать они будутъ дольше, чѣмъ мы читаемъ...

Для меня, напримѣръ, очень трудно разспирать писма безъ твердаго знака: сплосъ да рядомъ читаешь и не знаешь, къ какому слову отнести промежуточную букву: къ предыдущему или послѣдующему...

Ну, къ этому еще можно привыкнуть; вы такъ и записывайте: къ отсутствію твердаго знака можно привыкнуть... Что же касается до уничтоженія «э», «ѣ» и прочихъ подобныхъ буквъ, то ужъ это нельзя...

Эго, какъ я уже сказалъ, упростить, можетъ быть, писмо, но за то безусловно удлинитъ процессъ чтенія: вѣдь мы только пишемъ по буквамъ, читаемъ же вовсе не по буквамъ, а по общему виду словъ. Мы беремъ слово сразу нашимъ взглядомъ, не разбирая его на слога; и потому для всякаго читающаго каждое слово, обладающаго своеобразнымъ написаніемъ, имѣетъ свою особую физиономію, которую

онъ создаетъ именно эти «ѣ» и «э». И благодаря этой физиономіи, я узнаю это слово, даже не вникая въ него, какъ узнаю знакомаго лица среди сотни другихъ, мнѣ знакомыхъ; и потому я такое слово воспринимаю легче другихъ... Вотъ, я очень бѣгло читаю, такъ что вижу всегда нѣсколько впередъ; и если, напримѣръ, я впередъ вижу «ѣ» въ словѣ «тѣнь» то я уже знаю, что это именно «тѣнь», а не «темя» или что либо другое; и зналъ, что это «тѣнь», я уже предугадываю всю фразу, и мнѣ это облегчаетъ процессъ чтенія...

Однимъ словомъ, благодаря такимъ «личнымъ» признакамъ, которыми одарены слова при современномъ правописаніи я получаю возможность читать быстро. Если же написаніе станетъ однообразнымъ, т. е. каждое слово лишится своихъ личныхъ признаковъ, то узнавать мнѣ его будетъ труднѣе и, конечно, читать я буду медленнѣе...

Дѣло привычки, говорите вы? Это вотъ всѣ говорятъ, но я отвѣчу вамъ вотъ что: привыкнуть къ этому, дѣйствительно, можно и не трудно, но что процессъ чтенія отъ этого сдѣлается медленнѣе, такъ это тоже очевидно... А это было бы очень печально...

Мы уже подходимъ къ дому, обходя большую кучку сада... Толстой молчитъ немного, затѣмъ переходитъ опять къ Чехову: — Такъ вы говорите, что не было рѣчи на похоронахъ? Да? Это очень хорошо. Потому что рѣчи надъ могилой... Онъ всегда неискрененъ. Видите-ли... и тутъ слова его звучатъ какъ-то медленнѣе, отчетливѣе, — видите-ли, когда мы стоимъ передъ могилой, то если намъ и хочется говорить, то совѣмъ не о томъ, какъ жилъ покойникъ и что дѣлалъ... Намъ хочется говорить о смерти, а не о жизни; понимаете? Смерть настолько значительное событіе, что, созерцая, ее мы уже думаемъ, не «какъ жилъ» человѣкъ, а «какъ умеръ»...

Онъ замолкаетъ... Мы уже передъ балкономъ.

V.

Толстой быстро проходитъ черезъ балконъ, захватываетъ со стола пачку писемъ и газетъ и уходитъ работать. Я прощупаю разрытую папку въ паркъ, чтобы обдумать и записать то, что слышалъ: мнѣ хочется раньше отъѣзда прочесть еще все Льву Николаевичу; я онъ оказываетъ мнѣ и эту любезность: согласенъ выслушать.

На скамеечкѣ подъ рослой липой пишу я, беззаботно и волнуясь, чтобы не забыть чего нибудь... Ничего, кажется, все какъ слѣдуетъ... Вотъ только съ реформой правописанія; насколько охотно и легко воспринимаюсь все о Чеховѣ, настолько же трудно пишется о реформѣ...

По вотъ конечно... Иду на деревню, — она рядомъ съ усадьбой. Деревня отличная, видно, богатая и сытая... Избы каменные, крыты жолѣзомъ; большенка здѣсь-же...

Вотъ въ окошкѣ дѣвочка сидитъ лѣтъ четырехъ — голубенькая, розовенькая... Просто заглядѣнье: никогда не видѣлъ такихъ въ деревняхъ... Около нея «напѣва» лѣтъ семи... Сажусь около нихъ, болтаемъ... Старухи двѣ подходятъ.

— Здравствуйте, баринъ!..

— Здравствуйте, бабушка!.. — Что, на

внучку смотрите? — Да, вотъ!.. — Хороша, хороша дѣвчѣ!.. Такую бы дѣвку господь, она бы еще толще была... — А чья она? — А Адрианова... Знаешь Адриана, поди-ка? — Нѣтъ, не знаю... — Да чей-ты! — и укоризна въ голосѣ. — Адриана не знаешь?.. Кучеръ онъ на уже знаю, что это именно «тѣнь», а не «темя» или что либо другое; и зналъ, что это «тѣнь», я уже предугадываю всю фразу, и мнѣ это облегчаетъ процессъ чтенія...

Однимъ словомъ, благодаря такимъ «личнымъ» признакамъ, которыми одарены слова при современномъ правописаніи я получаю возможность читать быстро. Если же написаніе станетъ однообразнымъ, т. е. каждое слово лишится своихъ личныхъ признаковъ, то узнавать мнѣ его будетъ труднѣе и, конечно, читать я буду медленнѣе...

Дѣло привычки, говорите вы? Это вотъ всѣ говорятъ, но я отвѣчу вамъ вотъ что: привыкнуть къ этому, д